

В. Ф. Одоевский
ЗАПИСКИ ДЛЯ МОЕГО ПРАПРАВНУКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Посвящение

Часто, в те грустные минуты, когда, теряя веру в самого себя, упрекаешь себя в излишней деятельности, или, теряя веру в других, упрекаешь себя в недеятельности, когда бумага вертится под пером и мысли беспрестанно переходят от одного предмета к другому с неуловимой быстротой, ты являешься передо мной с своим вопрошающим взором, с своею насмешливою улыбкою. Ты спрашиваешь меня: что такое была наша литература? и где была наша литература? Ты перебираешь наши критики, истории, даже, если угодно, чтения о словесности, думаешь найти в них историю этой литературы, находишь в них сотни имен с разного рода эпитетами и еще раз спрашиваешь: что же такое наша литература? и, к досаде моей, прибавляешь обидный вопрос: была ли у нас литература?

Ты не понимаешь нас, мой милый праправнук, — не мудрено: мы сами себя не понимаем.

Но делать нечего! Чтоб удовлетворить твоему любопытству, я оставляю тебе все, что мне в разные времена приходило в голову при этом странном вопросе: "Есть ли у нас литература? и где наша литература?" Тетрадь мою читай с почтением, которым ты обязан своему прапрадедушке; не смейся, — мы и без тебя довольно над собою посмеялись, — и не принимай моих мыслей за общее мнение. Так думал твой прапрадедушка, вот и все; ошибался он или нет, — это ты узнаешь лучше нашего.

Плакун Горемыкин, титулярный советник в отставке.

Глава I

<...> Отлагая всякое чувство патриотизма в сторону, я думаю, что нет ни одной литературы интереснее русской, и вот почему: кто не знает знаменитого произведения Рафаэля — "Афинской школы"¹? но, может быть, немногие неживописцы обращали внимание на предуготовительные очерки (etudes) сей картины; это отдельные, несвязные группы, иногда подражание Перуджино², иногда антикам; здесь фигура наклонена, там поднята; здесь свернута, там развернута драпировка; здесь на одном туловище нарисованы три разные головы, там еще не окончена и половина фигуры, — словом, это попытки прекрасные, но которые были б нам непонятны, если бы мы не знали развившейся из них картины. Что, если бы кто взялся разбирать картину прежде, нежели она была написана? стал бы называть некоторые из сих очерков совершеннейшим произведением художества, про другие говорить, что они показывают совершенное отсутствие таланта?..

В таком положении находится наша литература; она любопытна как приготовление к какой-то русской, до сих пор нам непонятной литературе, — непонятной тем более, что Россия юна, свежа, когда все вокруг ее устарело и одряхло. Мы новые люди посреди старого века; мы вчера родились, хотя и знаем все, что было до нашего рождения; мы дети с опытностью старца, но все дети: явление небывалое в летописях мира, которое делает невозможными все исторические исчисления и решительно сбивает с толка всех европейских умников, принимавшихся судить нас по другим! Что же делать, господа! Мы ни на кого не похожи и для нас нет данных, по которым бы, как в математическом уравнении, можно было определить наше неизвестное. Россия живет еще в героическом веке; ее рапсоды еще не являлись. Мы еще предметы для поэзии, а не поэты. В такую историческую минуту народа — трудно судить о его литературе, ибо литература есть последняя степень развития народа: это духовное завещание, которое оставляет народ, приближающийся ко гробу, чтоб не совсем исчезнуть с лица земли.

От этого нынче у нас нет и быть не может людей, исключительно посвящающих себя искусству. Да и когда нам? нам некогда! Оттого у нас считается литератором тот, кто напишет пару стихов, пару романов, переведет водевиль или хорошо переводит газетные известия — точно так же; как в наших деревнях, кто умеет читать по складам, называется грамотным. Что в старых землях умеет делать всякий образованный человек, то у нас оценивается как произведение художника; тысяча первый английский турист, тысяча первый доцент, разъезжающий по провинциям для чтения того, чего набрался у других, был бы у нас не только литератором, но еще известным литератором, и, чего доброго, претендовал бы на диктаторство в нашей литературе! Есть люди, которые пишут даже краткие и пространные истории нашей литературы, как будто она имеет какой-нибудь характер, какую-нибудь самобытность и как будто все, что мы можем назвать литературою, не суть занятия в свободное время двух-трех человек с талантом. <...>

Исторический период, в котором мы находимся, производит еще особенную черту в нашей литературе: подражание. Наш народный характер, наша государственная жизнь, место, занимаемое нами на земном шаре, — все это так огромно, так полно силы и поэзии, что не может вместиться в литературу; оттого мы пропускаем себя мимо и глядим лишь на других. Это скромное чувство подражание так далеко у нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, будто бы мы лишены всякого творчества. Некоторые, хотя немногие, произведения нашего времени дойдут и до тебя, мой любезный праправнук, и тогда ты увидишь несправедливость этого осуждения. Нет! мы не лишены творчества; оно, напротив, сильнее у нас, нежели у других народов, но оно в зародыше; нашей литературе (за немногими исключениями), как я сказал выше, недостает отличительного характера, физиономии. Ты узнаешь немецкую страницу по глубокомыслию, английскую по юмору, французскую по остроумию —

по каким признакам ты угадаешь русскую страницу?.. Ты улыбаешься, любезный праправнук, потому что ты видишь в русской странице соединение всего того, что разменено для других народов на мелкую монету; ты видишь ясно, что наше мнимое подражание было только школою, вышедши из которой, мы перегнали учителей. Но это видишь ты, а не мы; для нас многие, весьма многие русские страницы богаты лишь отрицательными признаками.

От этого нет у нас сочувствия между жизнью и литературою; литературные вопросы, распри, открытия — все это не касается до нелитераторов; даже иной и литератор разделяется на две половины, из которых одна смеется над другою; что делается в литературе, того не знают в свете. Что делается в свете, о том не знает литература; в гостиной постыдишься сказать ту мысль, от которой поутру вспрыгнешь на стуле; гостиное происшествие, которое, развиваясь, может изменить все светские условия, сокрыто от литератора; к чему он готовится ежедневно, того избегает в свете; что пишется в наших книгах, то в книгах и остается; между наукою, и жизнью, между литературою и жизнью, между поэзией и жизнью — целая бездна. И каждая половина развилась своим особым образом и получила свои законы, свои условия, свой язык, и между тем обе живут вместе, как два расстроенные инструмента у глухих музыкантов — знай играют! Оттого и слышится такая чудная гармония, что хоть вон беги. Подите, растолкуйте им, что литература и жизнь, как в порядочном доме кабинет и гостиная — две необходимые вещи в бытии человечества, что одна не может быть без другой; отделить совершенно литературу от его жизни и его жизнь от литературы все равно, что в дождливую ночь вынести фонарь без свечи или свечу без фонаря. Поставьте, господа, свечку в фонарь! Покройте, господа, фонарем свечку!.. Нечего насмехаться над теми, которые бы хотели навести мост над бездною! <...>

А что же делает литература, чтобы приблизиться к обществу? О, многое! Во-первых, у нас есть нравоописатели, которых не пускают и в переднюю они очень любят нападать на высшее общество. У нас есть критики, которые ждут не дождутся чего-нибудь оригинального в литературе, чтоб унижить, уронить произведение, которое не похоже на другие; вообще отличительный характер наших так называемых критиков и сатириков - попадать редко и метить всегда мимо. Наша литература тянется вровень с землею, а они жалуются, что наши авторы заносятся слишком высоко; мы кое-как, с грехом пополам щечимся вокруг словарей — а нам ставят в упрек излишнюю ученость; два, три человека зашептало о шеллинговой, о гегелевой философии; иные проговорили слово об агрономии, — а у нас уже пишут повести, комедии, в которых выводятся на сцену философы, агрономы-нововводители, как будто это было характерною чертою в нашем обществе! Между тем в обществе действительно делается характеристическою чертою совершенное равнодушие к русской поэзии, к русскому театру, к движению русской науки; вместе с произведениями иностранцев вносятся к нам мысли, чуждые нашему духу, и бесчувствие в

цветном, красивом наряде, и болтовня народов-стариков, отживших свой век и потерявших всю веру в достоинство человека. Здесь толкуют о пустом фельетоне французского журналиста и не имеют понятия о тех добрых людях, которые стараются у нас подкопать великое честное литературное предприятие; там читают все, от Виктора Гюго до Поль де Кока³, и не читали ни Лажечникова, ни Вельтмана⁴; там спорят о танцовщицах и не видали Щепкина, Каратыгина⁵! И вся эта чужеземная смесь тянет книзу и топит эту бесценную проницательность, смысленность и сметливость, которыми провидение свыше одарило русского человека, приготовляя его быть первым человеком в мире науки и искусства... Эти черты остаются для наших сатириков неприкосновенными, а если и попадают в их книги, то в таком превратном и жалком виде, что общество и не знает, о чем идет дело! <...>

Примечания:

¹ «Афинская школа» (1508) — одна из наиболее известных фресок Рафаэля в Ватиканском дворце.

² Пьетро Перуджино (1445/1452–1523) — итальянский художник, учитель Рафаэля.

³ Поль де Кок (1793–1871) — пользовавшийся большой известностью французский писатель, автор фривольных бульварных романов.

⁴ Иван Иванович Лажечников (1792–1869) — русский писатель, автор исторических романов. Александр Фомич Вельтман (1800–1870) — русский писатель-романтик.

⁵ Михаил Семенович Щепкин (1788–1863) — великий русский актер. Василий Андреевич Каратыгин (1802–1853) — знаменитый трагик и драматург.